

УБИТОЕ ДЕТСТВО

**СБОРНИК ВОСПОМИНАНИЙ
БЫВШИХ ДЕТЕЙ-УЗНИКОВ
ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ**

Выпуск I

С.-ПЕТЕРБУРГ
«ИНКО»
1993

Составители сборника: ИВАНОВА И. А., НИКИФОРОВА С. В.

В оформлении сборника использованы рисунки бывшей малолетней узницы
МАКСИМЕНКО Е. Г.

Литературная обработка ИВАНОВОЙ И. А.

УБИТОЕ ДЕТСТВО

**Сборник воспоминаний бывших детей-узников фашистских концлагерей.
Выпуск I.**

Обложка художника И. ДЕМИНОЙ

Технический редактор А. СТРЕЛКОВ

Сдано в набор 23.05.93. Подписано к печати 28.08.93.

Формат 60 x 90/16. Бумага типографская.

Гарнитура литературная. Усл. печ. л. 7.

Тираж 1000. Заказ 262. Свободная цена.

Редакционно-издательский отдел СПБИПТ

МП «ИНКО»

Типография СПБИПТ

© Составление ИВАНОВОЙ И. А., НИКИФОРОВОЙ С. В. 1993.

© Оформление. Редакционная подготовка МП «ИНКО». 1993.

ЛАГЕРЬ В ДАЙХЕНДОРФЕ



Сережа Коваленко
и Митя Лякос (Болгария)

Лагерь в Дайхендорфе.

Об этом лагере, располагавшемся вблизи военного завода в Австрийских Альпах, вспоминают сразу трое его узников.

Алексею Щербакову было в 1943-м году 10 лет, Тамаре Алексеенко — шесть, а их добровольной воспитательнице, заключенной польского барака Ирене Лазари — 24 года.

Представленные свидетельства помогают достаточно полно воссоздать картину жизни детей в одном из рабочих лагерей III-го рейха.

ДЕТИ В ЛАГЕРЕ



Когда я попала в Канфенберг, стояла осень. Солнце озарило убранные поля, еще зеленые луга и горы, покрытые густым лесом. Но в лагере всё было безрадостным и сумрачным. Серые громады завода «Боленверк», несколько десятков черных бараков. Их обитатели тоже казались однообразно серыми.

Вдруг какая-то женщина улыбнулась мне — открыто и искренне, и я стала различать человеческие лица. Я узнала, что большинство узников — советские граждане (русские, украинцы, татары). Кроме них здесь находились также французы, итальянцы, литовцы и две польские семьи.

Был здесь и детский барак, где жили 104 советских ребенка от 3 до 14 лет. Некоторые были и старше: матери, стремясь уберечь своих детей от тяжелой 12-часовой работы на заводе, умаляли их возраст. Одетые в лохмотья, худые и бледные дети тоскливо слонялись по двору, никому не нужные: их матери работали на заводе и жили в отдельном бараке за высоким забором из колючей проволоки. Видеться с детьми они могли лишь по воскресеньям.

Я чувствовала, что мое место — среди этих детей с изуродованной судьбой. Неплохо зная немецкий и русский, я попросила разрешения заниматься с ними. Меня представили жене заместителя лагерфюрера, ведавшей детским баракком.

40-летняя дама, в прошлом — венская танцовщица, согласилась на эту должность, представляя себе белые кровати и белые шторы в детских спальнях, а увидела дощатые 2-х ярусные нары с голыми матрацами и грязных детей без рубашек, дрожащих под тонкими и серыми одеялами. Она действительно не знала, как справиться с грязью, вшами, голодом и нуждой. Панически опасаясь всякой заразы, она не заглядывала к детям, получая, впрочем, регулярно зарплату за руководство детьми. Убежденная в доброте и величии фюрера, эта дама уверяла меня, что Гитлер, конечно же, ничего не знает о положении в лагерях.

Барак, который занимали дети, был разделен на 3 части: для малышек, для старших девочек и старших мальчиков. Единственная печка была только у малышек. Там по ночам дежурили две старушки, присматривавшие за огнем в печи. Кроме них, я застала у детей русскую учительницу Раису Федоровну. Она жаловалась, что старшие мальчики ее совершенно не слушаются, отвечая на все замечания шумом и свистом. Пани Раиса была слишком тихой и несмелой. Она не умела приказывать и только просила детей. Причем делала это таким тоном, словно изначально предполагала непослушание. Мол, что бы я вам ни говорила, вы ведь всё равно не послушаете... Дошло до того, что стоило пани Раисе показаться на пороге, как поднимался невообразимый гвалт. Она, бедняжка, краснела, махала рукой и отступала... Впрочем, конкретные поручения она исполняла очень старательно и в дальнейшем стала моей незаменимой помощницей. Я серьезно поговорила с мальчиками и они стали вести себя иначе.

По примеру харцерства я организовала три группы. В каждой группе выбрали старших, которые ежедневно назначали дежурных. По утрам, в 6³⁰ я принимала их рапорты. Дети отнеслись к этому очень серьезно, что помогло наладить дисциплину и внесло какое-то разнообразие в их невеселую жизнь.

Во время рапорта они становились парами возле своих нар, вытягивались по стойке «смирно». Дежурные докладывали, как прошла ночь, кто нездоров. Я проверяла чистоту рук, лица, ушей, отправляла некоторых в умывальную. Осматривала больных, записывала, кому необходима перевязка.

Дети были очень ослаблены. После малейшей царапины у них образовывались незаживающие язвы, особенно на ногах. Я попросила у лагерного врача бумажные бинты, вату, лигнин, перекись водорода, марганцовку, рыбий жир и ихтиоловую мазь. В первое время приходилось делать до сорока перевязок в день, постепенно их количество уменьшилось.

Одежду детей трудно описать. Грязные отрепья, из которых, к тому же, они давно выросли. Не забуду 6-летнего Алешу Шкуратова, единственные брючки которого были настолько узки, что не застегивались на вздутом животике. Его не прикрывала и тесная рубашонка — живот постоянно оставался голым. Удивительно, но этот ребенок никогда не простужался. Говорил Алеша мало, был необычайно серьезен и обо всем имел собственное мнение. Он не позволял гладить себя по голове или целовать. «Мальчиков не следует ласкать,» — говорил он. Если Алеша заслуживал похвалу, его можно было лишь потрепать по плечу. Нужно было видеть эти огромные серые глаза голодного ребенка! Исключительно выразительные, они всегда смотрели прямо в лицо говорящего.

Когда мне прислали из дома отцовскую рубашку, я перешла ее Алеше. Он очень гордился своей первой мужской рубашкой. Я же никак не могла справиться у него со вшами и сказала: «Помни, Алеша, если я найду вошь в твоей новой рубашке, я заберу ее у тебя.» — Сколько же раз после этого Алеша снимал свою «мужскую» рубашку и обыскивал ее! Я уже жалела, что угрожала ребенку, но что другое оставалось делать в тех условиях?

Позже лагерфюрер дал мне поношенную одежду, которую, как я полагаю, прислали из какого-нибудь лагеря смерти. Из старших девочек я организовала группу швей. Мы устраивались за длинным столом в спальне малышей (там было теплее) и сообща перешивали эти вещи для наиболее нуждающихся. Тут же штопали и латали их собственные вещи. Бывало, что между делами я отдыхала. Тогда из разных углов ко мне приближались младшие дети — Надя, Катя, Витя, Сережа, Женя. Одни подходили смело, другие — тихонько, на цыпочках. Они клали головки мне на колени и я поочередно гладила их. Дети не произносили ни слова, как будто этот момент был для них священным. Насытившись лаской, когда маленькие шейки начинали неметь от неудобного положения, они так же молча возвращались к своим нарам. Малыши ждали этого ритуала и я понимала, что ласка для их

развития так же необходима, как питание, которого я им, к сожалению, дать не могла.

Завтраки и ужины детям доставлял французский заключенный, банковский служащий из Монфелера Андре Плащук — добрый, улыбчивый молодой человек. В помощь ему я выделила старших мальчиков. Утром детям давали суррогатный кофе и кусочек черного хлеба (по 50—100 граммов в зависимости от возраста). Получив хлеба, каждый ел его медленно, стараясь не уронить ни крошки. Одни съедали его сразу, другие старались растянуть это удовольствие на целый день: ведь хлеб был их единственным лакомством.

В то же время младшие дети ауслайдеров (всех иностранцев, за исключением русских) получали снятое молоко и белую булку, старшие — кофе с молоком и хлеб с маргарином. Мои же дети молока не видели никогда.

Хуже всего приходилось с обедом, за которым на площади одновременно выстраивались две очереди. Дети ауслайдеров выстраивались в одну и получали обед из 2-х блюд: суп и второе — картошку, кашу или клецки, иногда с кусочком вареного мяса. А дети с бирками «ost» вставляли в другую очередь и ели одну вареную брюкву неопишемого цвета. Сколько же по этому поводу было зависти, ненависти, а с другой стороны — задиранья носа и презрения к тем, кто постоянно питается только брюквой!

За несколько месяцев до окончания войны иностранцам стали давать по пятницам кисель и пирожное, мои же по-прежнему получали серую брюкву. Я не забуду рыданий 5-летнего Сережи Коваленко, который отставлял свою миску и голосил: «Почему Алику (крымскому татарину того же возраста) дали кисель и пирожное, а мне — брюкву? Не хочу брюкву! Не буду есть, я тоже хочу пирожное, у-у-у...»

Сережа был одним из самых слабых детей: худющий, с темными кругами под глазами, он, тем не менее, отличался смелым характером — настоящий бунтовщик.

Я пробовала убедить лагерфюрера, чтобы он позволил хотя бы младшим выдавать обеды, предназначенные иностранцам. Он отвечал, что не может: это распоряжение свыше. Тогда я попросила выдавать обеды в разное время: ведь чего глаза не видят, о том сердце не болит. На это он согласился. С тех пор Сережа и остальные дети уже без плача съедали свою невкусную брюкву.

Сережа Коваленко и 5-летний болгарин Митя Лякос были неразлучными друзьями. Неподалеку от детского барака находились бурты с картошкой в несколько сот метров длиной.

Зима была суровой и картошка померзла. Бурты охранял полицейский, прогуливавшийся туда и обратно.

Мои дети никогда картошки не получали, несмотря на это, я постоянно чувствовала в спальне малышей сладковатый запах мороженой картошки. Однажды дети показали мне, как они ее достают.

Я выглянула в окно и увидела такую сцену. Митя стоял возле барака с пальцем у губ. Взгляд его был прикован к удаляющейся спине полицейского. В это время Сережа на четвереньках подползал к ближайшему бурту, вынимал из кармана ломаную ложку и, пробив несколькими ловкими движениями дырку в бурте, доставал картошку и набивал ею карманы.

Когда полицейский приближался к другому концу и вскоре должен был обернуться, Митя свистел и Сережа на четвереньках проворно, как заяц, убежал. Они повторяли это по нескольку раз в день и никогда не попадались.

Свою добычу дети терли на терках, которые их мамы сделали из старых консервных банок. Затем ложкой клали «пирожки» (конечно без соли и жира) на горячую крышку и, поджарив, уплетали как наилучший деликатес.

Однажды дети сообщили мне, что у них пропадает хлеб. Мы решили выследить виновного. Через несколько дней мальчики с криками: «Вот воришка!» — привели ко мне Надю Пономаренко, пойманную на месте преступления. Она шла на тоненьких, как у птички, ножках, 4-х летняя девочка со вздутым, словно барабан, животиком. Бледное личико обрамляли светлые курчавые волосики, голубые глаза выражали удивление. Я попросила всех выйти. Посадила Надю к себе на колени и стала объяснять: «Пойми, Надя, что твои товарищи голодны так же, как и ты. Как же можно забирать у них хлеб? Подумай: сейчас ты крадешь хлеб, а потом тебе понравится чье-то платье или другая вещь и ты тоже захочешь ее украсть? В конце концов, когда ты вырастешь, тебя заберут в тюрьму.»

Надя слушала внимательно, лицо ее было сосредоточено. Выслушав, она соскочила с моих колен и, сложив прозрачные ручки, сказала: «Тетя, я ведь вовсе не украла, а только взяла, потому что была голодная...»

Я схватила эти худенькие ручки, прижала ребенка к себе и, глядя ей в глаза, сказала: «Послушай, Надя, я знаю, что мы сделаем. Не бери больше хлеба с полок товарищей. А когда будешь голодна, найди меня, где бы я в это время

ни была: у вас ли, у себя или во дворе. Подойди или постучи в окно, а я уж постараюсь для тебя что-нибудь найти.»

С тех пор у меня появилась обязанность оставлять часть собственной порции для Надюши. Хлеб перестал пропадать.

В конце ноября сорок четвертого года в детском бараке возникла эпидемия свинки, укладывавшая одного ребенка за другим. Это был самый тяжелый период моей работы. В разгар болезни я несколько дней не раздевалась и не спала. Поэтому нет ничего удивительного, что когда эпидемия пошла на спад, заболела сама. Тогда роли переменялись. Дети, которые уже выздоровели, и их матери окружили меня заботливой опекой. Никогда не забуду, как узнав, что я возвращаю всякую еду, кроме компота из яблок, матери где-то доставали эти драгоценные тогда фрукты, и дети, встревоженные моим состоянием, приносили мне яблоки, которых им самим очень хотелось.

Когда весной 1945 года советские войска вошли в Австрию, заключенных нашего лагеря стали интенсивно «оживлять». Завод больше не работал и дети вернулись к своим близким. Надя тоже вернулась к маме, у которой было еще несколько старших детей. Достаточно было двух месяцев хорошего питания и девочку стало трудно узнать. Ручки и ножки налились, животик-барабан опал, личико зарумянилось. Но всё же время от времени я слышала привычный стук пальчиков в мое окно.

Выглянув, я видела плутовски улыбающееся лицо Нади.— Я голодна, тетя!— говорила она. Я понимала ее. Брала ребенка на руки, ласкала и давала конфетку или кусочек сахара. Надя благодарила и, счастливая, вприпрыжку бежала к маме.

9 мая пришло освобождение. 11 июня лагерь был расформирован и двенадцатого июля сорок пятого года я навсегда распрощалась с моими детьми. Помню же их всю жизнь.

Иногда сама удивляюсь: как мне—тогда 24-летней девушке—удавалось справляться с таким количеством детей, имея для помощи лишь одного взрослого человека?

Прежде всего, наверное, помогла введенная с первого дня харцерская дисциплина и присущий харцерству романтизм. Это покорило детей, не приученных кого-либо слушаться.

Кроме того, я строго придерживалась справедливости. Я убедилась, что ребенок перенесет любое наказание, если знает, что оно действительно заслужено. Наверное, ни один взрослый не ощущает так болезненно несправедливость, как ребенок...

Перевод с польского Н. МАРТЫНОВИЧ



Т. Алексеенко

**« Я ХОТЕЛА
ПЕРЕКРИЧАТЬ
СТРАХ»**

Мы с сестрой родились в Ленинграде. Я в 1936-м, Маша — в 1934-м году. Но жили в основном у бабушки, в деревне Полово Городокского района Витебской области. Из мирного детства запомнились отдельные эпизоды. Вроде того, как однажды мы с Машей чуть не устроили в доме пожар. Заметили, как бабушка прячет от нас спички на шкаф и решили их непременно достать. Оставшись одни, пододвинули к шкафу стол, взгромоздили на него табуретку, сверху — еще маленькую скамеечку и достали-таки спички. Устроили на печке костер, загорелся куль со льном и не миновать бы пожару, когда бы не вернулась бабушка и не потушила огонь. Должно быть, тот случай был самым страшным в нашей довоенной жизни, потому и запомнился. Тогда мы еще не знали, сколько по-настоящему страшного придется вскоре испытать.

Страх пришел в самые первые дни войны. Когда в деревне появились немцы, люди встретили их по-разному. Одни затаились и старались не привлекать к себе внимания, другие встречали хлебом-солью, а третьи, как наша соседка, стремились завоевать расположение новых хозяев доносами. Она сообщила, что отец у нас коммунист, воюет в Красной Армии, и маму арестовали.

Как же было страшно, когда полицаи вели ее на расстрел, а мы с Машей, крича и плача, бежали следом. Но случилось так, что в это время на деревню напали партизаны. Завяза-

лась перестрелка. Мама крикнула, чтобы мы спрятались в канаве.

Мы кубарем скатились с дороги и прижались ко дну канавы.

— Надо притвориться мертвыми, — наставляла меня Маша. И мы лежали, не шевелясь и замирая от страха, очень долго. Наконец всё стихло, и мы пошли домой. Через несколько дней вернулась мама. Ей удалось бежать. Из дома нас выгнали — там расположились немцы. Мы скитались по деревням, питаюсь чем Бог пошлет.

Осенью 43-го года жителей начали угонять в Германию. Мы собирались уйти к партизанам, но не успели: немцы оцепили деревню. Каратели в черной форме выгнали всех жителей из домов и погнали в сторону Витебска. Мы шли с мамой, бабушкой, тетей и двоюродным братом Ваней двенадцати лет. Господи, что это была за дорога! Непролазная осенняя грязь, кругом одни руины. Ночевали в каких-то холодных сараях или конюшнях. Болели, голодали, многие умирали. Синугиных — из нашей деревни — было шестеро: мать и пять дочек. Все девочки умерли одна за другой. Зима застала нас на территории Польши, в Белостоке. Оттуда погнали в Австрию.

Запомнилась площадь в Граце, оцепленная колючей проволокой. Мы — за проволокой, вокруг толпятся горожане. Одни кричат нам:

— Русише швайне! — и кидаются камнями, другие издавка, боясь чем-нибудь заразиться, кидают нам хлеб и сахар...

Союзники уже всю бомбили Грац. Иногда бомбы падали совсем рядом — в соседних домах вылетали стекла. Укрыться нам было негде. Мы только падали ничком и прижимались к земле. Было так жутко, что я кричала изо всех сил, пытаюсь перекричать грохот разрывов и собственный страх, но это плохо удавалось.

Спустя какое-то время нас погнали дальше. Дорогой мы встречали колонны наших военнопленных, скованных попарно цепями. Истощенные, измученные, они еще пытались совать нам какую-то еду...

Лагерь в Дайхендорфе располагался в предгорьях австрийских Альп. Здесь находился военный завод, который часто бомбили. Взрослые работали на заводе и жили отдельно от нас за проволочным забором. Во время бомбежки выла сирена и большие ворота лагеря медленно открывались. Мы бежали в горы, в заброшенные шахты. Если случались обвалы — никого не откапывали. Однажды я заболела, и меня

оставили в шахте на трое суток. Было очень страшно и все время хотелось пить.

Кормили нас очень плохо: одной разваренной, ничем не приправленной брюквой с кусочком черного, липкого, как глина хлеба. Постоянно мучил голод. Однажды, во время бомбежки, я бежала в горы и заметила брошенную кем-то корочку от сала. Я беспрестанно думала о ней, и когда бомбежка кончилась, долго ее искала. Стемнело, и я ее в тот вечер не нашла. На завтра убежала из лагеря и все-таки отыскала эту маленькую, но замечательно вкусную корку.

Еду нам раздавал заключенный-француз Андре Плащук. Каждый раз мы кланчили у него: «Дай добавки, дай!» — Он распахивал свою куцую куртку и говорил: «Я бы вам все отдал, но у меня самого ничего нет!» — Мы не отставали и протягивали ему свои вылизанные «минашки» — железные миски. Порой Андре не выдерживал и запускал подальше чью-нибудь «минашку». Жестянка полетит, зазвенит по камням, а Плащук отвернется и вытирает рукавом слезы... Андре и сам голодал. Мальчишки ловили для него улиток, выманивая их из раковин: «Маслюк, маслюк, высуни рожки, дам тебе картошки!» — Но картошки ни у кого не было. Ее можно было только украсть из буртов возле кухни. Поймают — изобьют до полусмерти и пошлют чистить голыми руками уборные...

Летом нас заставляли полоть огороды и собирать урожай. Откусишь огурец — снова быют. Но голод оказывался сильнее страха, и мы хватали зубами турнепс или брюкву прямо с землей, корнями и червяками. Когда поспевала черника, мы тайком бегали в лес по ягоды. Иногда их удавалось обменять у жителей на пару картошин или кусочек сахара. Но заходить в дома было опасно — неизвестно на кого нарвешься. Как-то я постучала в один дом, а там — фашист со свастикой на рукаве. Кинулся на меня с кулаками, но жена его удержала.

От голода и болезней люди в лагере умирали целыми семьями. Умерла и наша бабушка, а мама и Ваня переболели тифом.

Зимой мы очень страдали от холода. Стояли небывалые для здешних мест морозы. «Русские привезли много зимы», — говорили местные жители. Маленькая, величиной с ведро печка в детском бараке почти не давала тепла. Под тонким одеялом было невозможно согреться.

Но, наверное, больше чем от холода и голода мы страдали от разлуки с родными. Каждому так хотелось побыть рядом с мамой! Мы хорошо изучили своих охранников. Одному

из них — низенькому, толстому Шпигелю — лучше было не попадаться на глаза. Он злобно набрасывался на каждого, кто подходил к забору и колотил чем попало. Другой же — тощий Ганс — жалел нас. Увидит, что смотришь в сторону взрослого барака и спросит сочувственно: «К мамке хочешь?» — Покажет, где дырка в заборе и предупредит, взглянув на часы: «Забор придут чинить через час двадцать. Смотри, не опоздай!»

Мама отрывала от своего пайка последние крохи, чтобы подкормить нас. Иногда рабочий-австриец, работавший с ней на заводе, протягивал ей пару тоненьких ломтиков хлеба и говорил: «Отдай детям». — Если удавалось повидать маму, мы словно оттаивали душой. При малейшей опасности мама прятала нас под тюфяк, а сама ложилась сверху. Когда приходила пора возвращаться, внимание часовых отвлекала мамина соседка по нарам — красивая украинка Люба.

Ване тоже удавалось иногда пробираться к своей маме. Однажды он сидел возле нее и подшивал прохудившийся ботинок. Неожиданно вошел полицаи, закричал и стал бить. А потом приказал донага раздеться и погнал босиком по морозу. Ваня заболел, тяжело дышал, и через неделю его не стало.

Я тоже простудилась, сильно кашляла и плакала от страха, что меня увезут в крематорий. В Граце мы видели, как из черных труб крематория валил густой вонючий дым, и взрослые говорили: «Сжигают туберкулезных...»

Но меня отвезли в госпиталь, и здесь мне неожиданно повезло. Доктор — худощавый рыжеволосый Курт — был очень добр ко мне. Он немного говорил по-русски. Приносил мне яблоко или булку, гладил по голове и спрашивал: «Ты живой, мой чижик? Ну-ка, подними головку, я на тебя посмотрю. А плакать не надо... У меня тоже была дочка — такая же, как ты...» (Семья Курта погибла во время бомбежки). Иногда медсестра — молодая красивая девушка — спрашивала его: «Что будем делать? У нее высокая температура, а завтра тяжелых будут отправлять в крематорий.» — «Значит, температура будет невысокой! Ты поняла, Эльза? Невысокой...» — отвечал Курт.

После госпиталя лагерный голод, холод и грязь показались еще ужаснее. Особенно донимали клопы и вши. Кто-то сказал, что клопы боятся воды. И мы стали ложиться спать на полу вокруг печки, разливая позади себя воду. Дети поголовно болели чесоткой. До крови расчесывали кожу, а под

струпьями поселялись вши, и зуд становился совсем нестерпимым.

Мы, наверное, совсем бы зачахли, не появившись у нас Ирина Константиновна. Ирина Лазари, 24-летняя узница польского барака видела в каком мы состоянии и попросилась к нам воспитательницей. Ей разрешили. С той поры наша жизнь словно озарилась солнцем, которого мы до этого и не замечали. Выводя нас по утрам из барака, Ирина показывала на восток и говорила: Там, где всходит солнышко — ваша Родина, Россия». — Она учила нас православным молитвам и русским песням. Мы выучили наизусть «Отче наш» и пели вместе с нею «Гибель «Варяга». А главное научились не отчаиваться и почувствовали, как из наших сердец уходит злоба. Мы даже стали иногда улыбаться. Ирина Константиновна вникала во все наши ссоры и неизменно восстанавливала справедливость. Заставляла чисто умываться и бороться с насекомыми. Доставала в рави́ре бинты, мази и лечила наши язвы.

Как-то Шпигель подстерег меня, когда я пробиралась к маме, и пробил мне камнем голову. Ирина Константиновна выстригла вокруг раны волосы и сама зашила рану белыми нитками.

Однажды мы искали щавель и потоптали траву на газоне, за что были наказаны лагерфюрером. Он приказал поставить нас голыми коленками на гравий. Мы простояли так всю ночь и утром не смогли подняться. Ирина Константиновна подняла нас, чем-то смазала и забинтовала наши колени.

В другой раз мне не повезло на чужом огороде, где мы с ребятами ели щавель. Местные дети натравили на нас собаку, и здоровенная овчарка меня сильно искусала. Ребята притащили меня в лагерь и рассказали обо всем Ирине Константиновне. Она спрятала меня на верхних нарах и тайно лечила. Рана на животе долго не заживала.

— Только не расчесывай, — уговаривала она. — Как хочется почесать, ты положи ручки за спину и потерпи.

Настал 1945 год. Говорили, что за Альпами уже наши. «Вот, наверно, где можно наесться», — мечтала Маша. И надумали мы с ней убежать за горы. Конечно, у первой же горы нас поймали и, наверное, заporоли бы плетьюми, но Ирина Константиновна отстояла.

До самого конца нашей неволи Ирина Константиновна была с нами. Только став взрослой, я поняла, как нелегко ей было одной управляться с сотней голодных, больных, озлоб-

ленных детей. Ни разу она не только не ударила никого из нас, но даже не накричала.

В мае 45-го года Дайхендорф бомбили и днем, и ночью. Сирена больше не включалась и нас не отправляли во время налетов в шахты. Одна бомба попала во взрослый барак, где снесло полстены, но люди, к счастью, не пострадали: все были на работе. 8 мая все поняли, что войне приходит конец. Охранники нервничали и срывали с мундиров погоны. Один из них застрелился, другой утопился в речке. 9 мая в 5 утра все проснулись от грохота и стрельбы. Гудела сама земля: по шоссе шли наши танки. А в 6 утра на поле перед лагерем сел самолет с красными звездами. Толпа ринулась к воротам, они рухнули и все побежали к самолету. Срывали на бегу цветы, обнимали летчиков и дарили им охапки желтых одуванчиков. Какой это был день! Все плакали от радости и страха: вдруг военные уедут, а мы останемся. На танках сидели бойцы, в том числе и девушки в военной форме, и бросали нам печенье, сахар, конфеты, а мы оборвали для них все цветы вокруг.

* * *

Домой мы, однако, попали только в ноябре. Проходили фильтрацию, ждали эшелонов, потом долго ехали через всю Европу. Возвращались на Родину псковские, смоленские, витебские русские люди. Но Родина встретила нас безучастно, как неродных. Высадили в Витебске, а там одни руины, да пепелища. От дождя пришлось прятаться под вагонами, и никому-то до нас не было никакого дела. Оказались мы без хлеба, без денег, без карточек и без жилья. Кое-как добрались до своей деревни, кто-то пустил нас в землянку.

Снова жили в голоде, в холоде и страхе. Признаться, что были в плену, нельзя — вышлют неизвестно куда. Бедствовали мы страшно. Все же закончила я школу и хотела поступить в геологоразведочный техникум. Успешно сдала экзамены, дали заполнить анкету. Честно ответила на все вопросы, а мне говорят: «Такая не годится». — Заплакала я и ушла. Какой-то мужчина из приемной комиссии догнал меня и говорит: «Девочка, ты очень хорошая, умница, но с такой анкетой для тебя все двери закрыты. Ты уж лучше пиши, что просто была в оккупации». После не раз меня упрекали тем, что войну я провела в фашистском плену и заставляли клясться, что в преступлениях против Отечества не участвовала. И никто не задумывался, как я туда попала и что было мне тогда всего от 6 до 9 лет.



А. Щербаков

**«ИРИНА
КОНСТАНТИНОВНА,
МЫ ВАС
НЕ ЗАБЫЛИ!»**

Родом я из деревни Дуброво Меховского района Витебской области. Места наши лесные, богатые. Люди проживали на хуторах, много трудились, но жили в достатке и подолгу. Прадед мой, например, скончался на 101-м году. И коллективизация нас не разорила: хутора объединились в колхозы, но у каждого оставалось свое хозяйство, скот, многие держали пчел.

Отец был активистом, председателем сельсовета. С началом войны сразу ушел в армию. Мы остались с мамой: я — десятилетний, сестра Рая 12 лет и маленькая Галя, родившаяся перед самой войной.

Вначале мы войны не чувствовали. Лишь смотрели, как проносятся в небе чужие быстрые самолеты с белыми крестами. Потом вдруг поднялась пыль на дороге: пошли вражеские танки, пушки, машины, войска.

Немцы забегали в дома, запасались яйцами, молоком, и торопились дальше — на Москву. Показывали нам на пальцах: «Сорок дней и Москве капут!»

Деревню, вроде бы, и оккупировали, но появлялись у нас редко, наездами. Назначили старосту. Колхоз ликвидировали, урожай раздали людям.

По лесу бродило много наших бойцов, оставших от своих частей. Деревенские снабжали их гражданской одеждой, и солдаты по одному перебирались на хутора. Фронт остановился в 15 километрах от нас — в Усвятах. А в пяти километрах — в Пахомовичах, расположился немецкий гарнизон.

С другой стороны, в лесу, объявились партизаны. Немцы навевались в деревню только днем. Партизаны приходили по ночам и изредка оставались до утра. Однажды зимой они заночевали в двух домах, а утром показалась немецкая разведка — 5 лыжников. Наши стали стрелять, одного лыжника ранили. Немцы забрали раненого и, не вступая в бой, ушли.

Ночью мы проснулись от странного звука: будто кто-то кидается в стену дома кирпичами. Это немцы обстреливали деревню из ротных минометов. Когда стало светать, снег перед окнами показался красным: немцы подожгли те два дома, откуда накануне стреляли партизаны. Вывели на улицу хозяев: старика, воевавшего еще в первую мировую, и двух подростков — 15 и 16 лет. Всех троих расстреляли.

Нас в тот раз беда миновала.

В первых числах апреля, перед Пасхой, подорвалась на мине немецкая подвода.

— Ну, — думаем, — опять к нам «гости» нагрянут...

И вправду нагрянули.

Мы спешно принялись выносить из дома вещи. Многого вынести не успели: пришли каратели.

— Уходите, — говорят, — будем поджигать!

Согнали всех жителей в одну колонну и погнали в Пахомовичи. У нас и корова в поле осталась — не успели привести. В двух километрах от дороги стояли наши. Увидели колонну (не знали, конечно, что это мирные жители) и обстреляли. Мы с горы в ложину скатились. Там еще снег лежал — схоронились. И охрана вместе с нами пряталась.

Когда стрельба прекратилась, выбрались из укрытия, дошли до Пахомовичей. Там немцы распределили всех по деревням. Нам выпало Ступино. Только мы, как стемнело, решили к себе пробираться.

Пришли в Дуброво, а там одни головешки тлеют. У нас ни дома, ни сарая, лишь труба от русской печки торчит.

Начались скитания по окрестным деревням. Огород мы все же на своем участке посадили. Ходили туда полоть и поливать. А сосед наш, Гриша Лукашов, сделался при немцах

полицаем и первым мародером. Увидел нас и выскочил с ружьем. Кричит маме: «Ты, жена председателя, сейчас тебя застрелю!»— Мы с Раей, понятно, перепугались, прижались к маме, а маленькую она на руках держала. Не выстрелил.

Мы ушли в лес, жили в землянке, перебивались как могли. Настал 1943 год. Доносились слухи о наступлении наших войск. Надо бы нам пересидеть в лесу, но стало совсем холодно, и мы пошли в Пахомовичи.

А немцы уже готовились к угону населения в Германию. И настал день, когда жителей собрали всех вместе и повели в Копасы, а оттуда к железной дороге в Городок. Погрузили в телячьи вагоны и повезли на запад. Витебск, Минск, польский город Белосток...

К тому времени мы уже по-настоящему голодали. Взятые с собой припасы давно съели, а немцы в дороге не кормили. В Белостоке вдруг дали баланду, от которой у всех начался сильный понос. Первыми стали умирать маленькие дети, умерла и наша Галя. Среди узников был русский врач. Он попросил сварить для детей овсяный отвар. Тогда мор прекратился.

В Белостоке мы жили во временном лагере, он был оцеплен колючей проволокой. Вдоль проволоки ходил часовой с нарукавной повязкой. На ней была нарисована свастика.

В лагерь стали приходить богатые поляки и покупать батраков для работы в своих поместьях. Брали, как правило, бездетных. Мы никому не понадобились. Спустя какое-то время нас снова посадили в эшелон и повезли дальше.

Стояла весна сорок четвертого года. Все вокруг цвело. В щелки вагона мы видели чужие красивые города, ухоженные поля, а нас увозили все дальше и дальше от дома, в иноземное рабство.

На вокзале в городе Граце поезд встречали с оркестром: так немцы приветствовали доставку живых трофеев. Уютный австрийский городок утопал в зелени, ярко светило солнце, громко и весело трубили музыканты, а нам было стыдно и обидно, когда мы, грязные и ободранные, опухшие от голода, брели под конвоем в лагерь. Жители показывали на нас пальцами, как на зверей, ненадолго выпущенных из клеток, и бесцеремонно обсуждали.

В лагере, выстроенном на окраине города, нам первым делом устроили санобработку. Наголо брили, обсыпали каким-то серым порошком, одежду отправили на дезинфекцию. Потом отвели в бараки с двухъярусными нарами, где пришлось спать на голых досках. Кормили вонючей баландой,

и многие скоро заболели брюшным тифом. Говорили, что каждой новой партии немцы делают «просев»: заражают какой-либо болезнью, чтобы выявить наиболее выносливых.

Здоровых увезли в Гамбург. У нас Рая заболела. Я навещал ее в лазарете, но не заразился. Только очень ослаб от голода. Мама в темноте пролезала под проволокой и ходила просить милостыню в город. На ней был мундир с металлическими пуговицами: кто-то дал в Белостоке. Не помню, что было изображено на этих пуговицах, но они почему-то очень нравились местным женщинам, которые указывали на них пальцами друг другу, улыбались и подавали маме белые батоны. Однако такое продолжалось недолго. Немцы тоже увидели пуговицы и велели маме их спороть, а батоны отобрали.

Я тоже освоил лаз под проволокой и выбирался в Грац. Жители давали корочки хлеба или маленькие красные продуктовые карточки, на которые что-то можно было выменять. Еда тогда мерещилась постоянно — во сне и наяву. Во сне, бывало, только и делаешь, что ищешь съестное.

Когда сестра поправилась, нас перевели в лагерь Дайхендорф, в пяти километрах от города Капфенберга. Местность там удивительно красивая — зеленые холмы, поросшие лесом, величественные елки и сосны. Здесь было очень много лагерей, где содержались люди разных национальностей, гражданские и военнопленные. Чехи, поляки, французы, итальянцы, даже англичане и американцы.

Однажды при нас немцы сбили американский четырехмоторный самолет — «летающую крепость». Летчики выбросились с парашютами; к ним кинулись охранники с собаками и привели в лагерь.

Хуже всех приходилось русским: ни мы, ни наши военнопленные не получали ниоткуда никакой помощи. Остальные заключенные (чехи, французы и другие) получали посылки из дома, подарки от Красного Креста, лучше питались, были тепло и добротнее одеты. Бараки для гражданских других национальностей не охранялись, после работы они могли свободно ходить по городу. Одних русских не считали за людей. Как преступников, нас держали за колючей проволокой и заставляли носить на одежде бело-синие нашивки с надписью «ост».

Взрослые работали, в основном, на заводе Боелерверке, относящемся к авиационной промышленности. Нашу маму послали работать в Дайхендорф, в огромную прачечную, об-

стирывавшую все лагеря. Все процессы в ней были механизированы.

Русские жили в десяти бараках. Дети от трех до пятнадцати лет отдельно. У нас было две группы мальчиков, две — девочек, пятая — малышовая. Старших гоняли на работу — таскать в тачках песок и гравий на стройке. Кормили отвратительно: утром — пайку хлеба с опилками на троих (и мы дрались, отнимая хлеб друг у друга), а вечером — по «минашке» (маленькой железной кастрюльке) баланды из гнилой брюквы.

Мы развели, где хранится картошка, и подошли к немцам, охранявшим гурты. Иной разрешал нам взять немного порченой картошки. Мы смывали гнилье под струей воды, а твердую сердцевину разрезали на дольки и прикрепляли к горячим стенкам «буржуйки». Такая жареная картошка была первым лакомством.

Иногда по пути на работу или с работы нам встречались телеги, груженные картошкой. Мы зорко следили, не упадет ли хоть одна картофелина и тут же ее подбирали: конвойные бывали обычно милостивее, чем лагерная надзирательница.

Лагерфюрерша — жена коменданта — была настоящей злыдней. Она не расставалась с крепкой плеткой, раздвоенной, как змеинный язык, и пускала ее в ход по малейшему поводу, и просто так — за косою взгляд.

Одному мальчику здорово досталось только за то, что при раздаче баланды он нечаянно задел плечом чужую «минашку». Варевое расплескалось, и «фюрерша» от души истлестала виновного. Но этого ей показалось мало, и она втолкнула мальчика в собачью будку к огромной свирепой овчарке. Перепуганный мальчик подпрыгнул и схватился за перекладину под крышей будки. Собака кидалась на него, а он кричал и висел на руках, поджимая ноги.

Мы не знали, как долго он продержится, но каждый представлял себя на его месте, и разразился бунт. Не сговариваясь, мы все, как один (а было нас 104 человека), опрокинули свои «минашки» и, вылив баланду на землю, потребовали освободить мальчика.

Такой неожиданный поступок удивил даже надзирательницу, и она выпустила мальчика из будки. Для него эта пытка не прошла даром: позже он сошел с ума. Но тогда это была наша победа — не столько над фюрершей, сколько над собственным страхом; мы поняли, что все вместе можем за себя постоять.

По воскресеньям, когда мы не работали, на нас приходили поглазеть, как в зоопарк, дети охранников. Нарядные, в шляпах с перьями, они дразнили нас и всячески обзывали. Первое время мы униженно терпели, а потом, оглядевшись, не следит ли охрана, затаскивали их в темный угол и колотили. Они, конечно, ябедничали, и нам доставалось, но открыто дразниться уже остерегались.

Вокруг лагеря простирались частные поместья. Когда что-то выросло в поле, мы стали туда наведываться. Одна маленькая девочка — Тамара Алексеевко — рвала щавель, когда на нее спустили собаку. Собака ее сильно искусала, особенно живот, и лагерный врач — из узников — все лето ее перевязывал. Тамару искали, чтобы наказать, и мы долго ее прятали.

Старшие действовали хитрее. Когда поспели яблоки, мы просили у хозяев разрешения собирать падалицы и написать нам записку, что мы не украли. С этим «оправдательным документом» мы рвали в других садах, что хотели.

Немцы видели, конечно, что мы осмелели, и стали чинить между нами раздор самым простым способом — посредством еды. Детям крымских татар вдруг начали выдавать ежедневно по кружке молока с булочкой. Мы, понятно, завидовали и снова дрались.

Не знаю, что бы со всеми нами случилось — наверное, совсем бы одичали и ожесточились, не появившись вдруг в нашем бараке, словно ангел-хранитель, Ирина Лазари.

Эта девушка родилась и выросла в Польше, но в русской семье, всегда помнившей родной язык и веру. Оказавшись в лагере среди заключенных поляков, Ирина Константиновна видела, как нам живется, и попросилась воспитательницей к русским детям. Ей разрешили.

Как разительно изменилась с этого момента наша жизнь! Ирина Лазари учила нас всему, что знала сама, — русским сказкам и православным молитвам, русской истории и литературе, а, главное, добру и справедливости. Она не позволяла ожесточаться нашим душам и учила хранить в себе человеческое даже тогда, когда впору было превратиться в зверей. Помню, как мы с ней пели по вечерам:

«Плещут холодные волны,
Бьются о берег морской,
Носятся чайки над морем,
Крики их полны тоской...»

Мы знали наизусть и «Гибель Варяга», и «Прощание с Варягом», и другие старые русские песни.

Ирина Константиновна добилась через Красный Крест, чтобы нам выдали одежду. Мы получили поношенные, но чистые и теплые рубашки, брюки, куртки, а маленькие — даже ботинки с теплыми носками. Она очень жалела малышей и наставляла нас уступать им и делиться тем немногим, что мы имели. Мы постепенно оттаивали, даже улыбались иногда.

Обнаружили вдруг, что наши деревянные колодки «шуги» (так мы переименовали немецкое «Schue») прекрасно скользят по снегу. И, разбегаясь, с удовольствием скатывались с любой мало-мальски заметной горки.

Должно быть, только при Ирине Константиновне мы заметили, как искрится на солнце снег и красуются елки в белых покрывалах. Мы научились не бояться бомбежек и, услышав 16 отрывистых гудков воздушной тревоги, спокойно отправлялись с нашей воспитательницей в убежище, доверяя, наверное, больше ей, чем убежищу.

Ирина Константиновна внушала нам, что неволя не вечна: надо только перетерпеть ее, не забывать свою Родину, и тогда ожидание не покажется слишком долгим.

Шел уже май сорок пятого года, и настало девятое число.

Распахнулись ворота, вслед за танками в лагерь ворвалась пехота. Мы кинулись к солдатам, и тут только мы узнали, что войны больше нет, и кончилась наша проклятая неволя.

Потом нас проверяли в фильтрационном лагере НКВД. Домой отправили только в октябре. Довезли за казенный счет до Витебска. А там — как знаешь...

Все эти годы о неволе старался не вспоминать, и нигде о ней не упоминал.